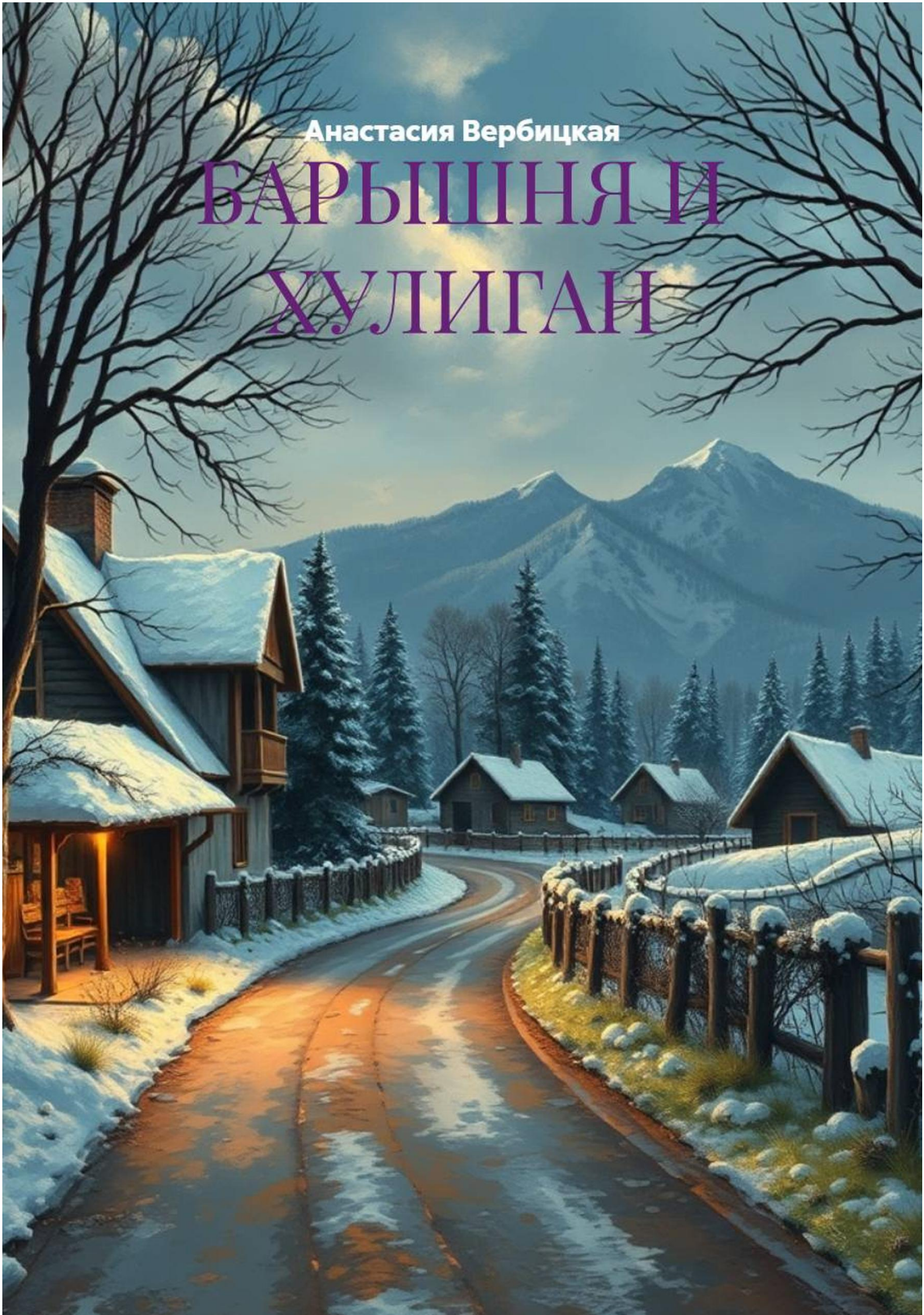

Анастасия Вербицкая
БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН

Анастасия Вербицкая

БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН

«Автор»
2026

Вербицкая А.

БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН / А. Вербицкая — «Автор», 2026

Виктор Ростов привык всё измерять деньгами: нефтяные сделки, пентхаус с видом на Кремль, «Мерседес» с бронированными стёклами. Когда компаньон и лучший друг Глеб выводит активы, а женщина, которую он считал своей, уходит к нему, Виктор понимает: империя рассыпалась, а сам он остался в пустоте. В отчаянии он уезжает на Урал — в забытую деревню Нижние Ильмы, где его ждут ржавый грузовик, скрипучая кровать и работа, от которой болят руки.Анна Светлова — учительница, выросшая в детдоме. Она привыкла быть нужной, но так и не научилась быть любимой. Всю жизнь она ждёт того, кто не бросит. Их встреча начинается с грубости: он — «хулиган», она — «барышня». Но за этой перепалкой стоит нечто большее: два человека, израненных прошлым, узнают друг друга с полуслова.Это роман о предательстве и прощении, о метели и чае с малиной, о том, как в глухой деревне, где «даже черти заходят только по большой нужде», рождается любовь, которая не знает ни времени, ни места, ни конца.

© Вербицкая А., 2026
© Автор, 2026

Анастасия Вербицкая
БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН

БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН

ГЛАВА 1. Пепел и ржавчина

Москва прощалась с ним не дождём, а мелкой, противной моросью, от которой на душе становилось скучно и тошно, как в уездном городе, где «ни людей, ни собак, ни скрипок, ни соловьёв, а в воздухе пахнет кислыми щами и керосином». Виктор Аркадьевич Ростов сидел в тонированном «Мерседесе» и смотрел, как за окном проплывают серые фасады, мокрые троллейбусы, люди с зонтами, похожие на грибников, вышедших на охоту в неурочный час.

Ему было сорок два года. Двадцать три из них он прожил в Москве и восемнадцать строил свою жизнь, свои деньги, свою империю. Последние три дня он смотрел, как эта империя рассыпается — не с грохотом, не с пожаром, не с выстрелами, а тихо, как рассыпается старая штукатурка: сначала трещинка, потом вторая, потом кусок падает вниз, а потом уже и стены нет.

Глеб. Глеб Валерьевич Тарасов. Человек, с которым он начинал в девяносто первом, когда им обоим было по двадцать. Человек, который был шафером на его первой свадьбе — той самой, ещё студенческой, с Таней, которая потом ушла, потому что не выдержала его вечного «потом». Человек, который вытащил его из бандитского плена в девяносто третьем, когда их обоих держали в подвале на Автозаводской и требовали «вернуть долг», а долга и не было — был просто наглый рэкет.

Глеб был тем, кого Виктор называл братом. Не по крови, по жизни. По тем годам, когда они спали по очереди в одной машине, потому что не было денег на две квартиры. По тем временам, когда делили один бутерброд на двоих и говорили, что «завтра всё будет». По тем обещаниям, которые дают только в молодости и только друг другу: «Если что, я за тебя умру».

А теперь этот человек сидел в кабинете на Рублёвке, пил его, Виктора, коньяк и спокойно, без тени смущения, объяснял, что «бизнес есть бизнес», что «Виктор слишком осторожен», что «так дальше нельзя», что «надо уметь жить широко».

Широко. Это слово Виктор потом будет вспоминать ещё долго — с той особенной, горькой усмешкой, с какой вспоминают слова, которые ранили, но оказались правдой.

Всё началось не с Глеба, если честно. Всё началось с нефтяной сделки в девяносто восьмом.

Тогда, после дефолта, когда экономика лежала в руинах, а те, кто уцелел, делили то, что осталось, Виктор и Глеб вошли в нефтяной бизнес — не в тот, о котором пишут в газетах, не в «Роснефть» и не в «Лукойл», а в маленький, серый, полулегальный бизнес перепродажи нефти с месторождений в Тюменской области. Они покупали у одних, продавали другим, и разница оседала в их карманах. Разница была не миллиардами, миллионами, но и это было счастьем.

Именно тогда Виктор впервые почувствовал вкус денег. Настоящих денег — тех, от которых кружится голова.

Он купил себе тогда первый «Мерседес» — чёрный, с тонированными стёклами, с кожаным салоном, с запахом, от которого у него до сих пор сжималось в груди что-то. Он ехал по Кутузовскому проспекту, смотрел на огни, на людей, которые шли по тротуарам, и думал: «Вот. Вот оно. Я доехал».

А потом была Лариса.

Лариса пришла в его жизнь в две тысячи третьем. Ей было двадцать восемь, ему тридцать восемь. Она была моделью, потом фотографом, потом «просто девушкой, которая умеет жить красиво». Она умела создавать атмосферу: завтраки с круассанами на Патриарших, поездки в Италию, разговоры о современном искусстве, лёгкий, почти невесомый смех, тот самый, похожий на перезвон хрустальных бокалов.

Виктор думал, что любит её. Может быть, и любил той любовью, которая бывает у людей, уже разучившихся любить иначе. Она была его отражением, его витриной, его доказательством того, что он «доехал»; с ней он чувствовал себя человеком, у которого всё есть, и мог не думать о том, что внутри у него пустота.

Он не замечал, как эта пустота росла. Не замечал, как между ним и миром вырастает стена из денег, из статуса, из тонированных стёкол. Как он перестаёт слышать других людей. Как начинает говорить только о сделках, только о деньгах, только о том, что «надо расширяться». Как забывает, что такое просто сидеть на кухне и пить чай, что такое смеяться, что такое жить.

Он не замечал этого, потому что был занят: тем, чтобы всё было «широко», тем, чтобы соответствовать, тем, чтобы не останавливаться, — потому что если остановиться, придётся посмотреть в зеркало, а в зеркале человек, которого он не хотел знать.

Кризис пришёл не сразу. Сначала были звоночки.

В две тысячи четырнадцатом году Глеб начал вести какие-то свои дела, не советуясь и не ставя в известность. Виктор спрашивал: «Глеб, что происходит?» Глеб отвечал: «Всё нормально, Витя, я просто расширяюсь». Виктор верил: верить было проще, чем не верить, а не верить означало признать, что брат не брат, — признавать это он не хотел.

В две тысячи шестнадцатом году Глеб начал выводить активы —аккуратно, по кусочкам, через подставные фирмы, через офшоры, через схемы, которые Виктор и сам когда-то придумывал. Он делал это медленно, как делают люди, которые не хотят ссориться.

В две тысячи восемнадцатом году Виктор узнал. Случайно. От Семёна Марковича, своего бухгалтера, человека старой закалки, который работал у него с девяносто девятого года. Семён пришёл к нему в кабинет, закрыл дверь, положил на стол папку и сказал:

— Витька. Ты только не ори. Но ты должен это увидеть.

Виктор открыл папку и увидел всё: все схемы, все офшоры, все подставные фирмы — всё, что Глеб делал за его спиной годами, терпеливо, аккуратно, как хирург, который режет по живому, но так, чтобы пациент не сразу заметил.

— Семён, — сказал Виктор. — Это правда?

— Правда, Витька. Я проверял. Три раза.

Виктор сидел в своём кабинете — с панорамными окнами, с видом на Москву-реку, с кожаным креслом, которое стоило как машина, — и смотрел на папку, думая о том, что вот она, цена: всего, двадцати трёх лет, «брата», «широко».

Он не пошёл к Глебу сразу, а ждал, может быть надеясь, что тот одумается, может быть боясь, а может быть просто не зная, что сказать. Он ходил по своему пентхаусу — двести квадратных метров с видом на Кремль, с дизайнерским ремонтом и картинами, которые покупал не потому, что любил, а потому, что «так надо», — и чувствовал, что задыхается не от воздуха, а от пустоты: от того, что всё, что он строил, рассыпается, что всё, что он считал своим, ему не принадлежит и что он остался один.

Лариса сказала это за завтраком. В субботу, в тот самый день, когда он наконец решился поговорить с Глебом.

Она сидела напротив него, в шёлковом халате, с чашкой кофе в руке, и смотрела так, как смотрят на человека, которого уже проводили: не с ненавистью, не с презрением, а с той спокойной, почти равнодушной жалостью, которая бывает у людей, уже всё решивших.

— Витя, — сказала она. — Прости. Но Глеб умеет жить шире. А ты стал слишком осторожным, Витя.

Он смотрел на неё и не понимал, как она может говорить это за завтраком, за столом, который он сам привёз из Италии. Как она может улыбаться той самой улыбкой, которая когда-то казалась ему верхом элегантности; как она может быть такой спокойной, будто ничего не случилось, будто это не предательство, будто это просто «так надо».

— Лариса, — сказал он. — Ты с ним?

— Да, Витя. Уже полгода.

Полгода она спала с его братом, улыбалась ему за завтраком, говорила ему «люблю». Жила в его доме, ела его еду, тратила его деньги — и знала, что уходит, что уйдёт, что он не нужен.

— Почему? — спросил он, и голос его прозвучал чужим, как будто говорил не он, а кто-то другой, тот, кого он прятал в себе много лет.

— Потому что с тобой скучно, Витя. Ты как этот твой «Мерседес». Красивый. Дорогой. Надёжный. Но в нём нечем дышать. Понимаешь? Ты как футляр. В тебе всё есть. А воздуха нет.

Футляр. Она сказала футляр, и Виктор вдруг вспомнил того самого человека в футляре, о котором рассказывал когда-то, в другой жизни, какой-то семинарист по фамилии Беликов. Только футляром его теперь был не плащ с калошами, а этот самый «Мерседес» с брониро-

ванными стёклами, в котором он прятался от мира, как от дождя, как от совести, как от самого себя.

Он не рассмеялся, только посмотрел на неё и увидел, что она уже не его. Она уже там, у Глеба, в его «Мерседесе», в его кабинете, в его жизни.

— На базу, Виктор Аркадьевич? — робко спросил водитель Петрович, стараясь не смотреть в зеркало заднего вида. Петрович был из тех людей, которые всю жизнь молчат и только изредка, по большим праздникам, говорят что-то вроде: «Дождёмся ли света, барин?»

— В никуда, Петрович, — хрипло ответил Виктор. — Останавливай у гаража.

Он уехал через три дня — не потому, что решил, а потому, что не мог больше оставаться.

Москва душила его: каждый угол, каждая улица, каждый дом напоминали о том, что было, — вот здесь они с Глебом открыли первую лавочку, вот здесь пили пиво после первой сделки, вот здесь Лариса смеялась над его шуткой, вот здесь он покупал ей кольцо, вот здесь он думал, что счастлив.

Он собрал чемодан — не большой, не маленький, просто чемодан — и уехал. Не попрощавшись, не объяснив, просто уехал, как уезжают люди, которые не знают, куда едут, как уезжают люди, которые бегут не от чего-то, а от себя.

Он ехал на восток, на Урал, туда, где когда-то, студентом, ездил в стройотряд, туда, где, как ему казалось, ещё осталась жизнь.

Он не знал, что найдёт, не знал, что будет, и знал только одно: он устал. Устал бежать, устал прятаться, устал жить в футляре. И если там, на Урале, в какой-то забытой богом деревне, ему суждено сгнить, что ж, значит, так надо, значит, он это заслужил.

И вот теперь, три дня спустя, он стоял на грязной дороге, в деревне с неблагозвучным именем Нижние Ильмы, затерянной где-то между тайгой и болотами, куда не ходили асфальтированные трассы и куда, как говорил местный старожил дядя Миша, «даже черти заходят только по большой нужде».

Деревня лежала в низине, окружённая с трёх сторон еловым лесом, тёмным и молчаливым, как старая усадьба, в которой давно никто не живёт. По утрам над ней висел туман — густой, молочный, такой, что на расстоянии десяти шагов не было видно ни зги, — и в этом тумане деревня казалась призрачной, выдуманной, как те города, которые снятся перед рассветом. Церквушка с облезшей синей краской на куполе стояла на пригорке, как забытая игрушка, и только скрип колодезного журавля нарушал тишину — тишину не городскую, не московскую, с её вечным гулом, а настоящую, уральскую, в которой слышно, как падает снег и как дышит земля.

— Ну что, дядя Витя, берёшь корыто? — ухмылялся беззубый механик дядя Миша, хлопая по ржавому крылу.

Это был старенький грузовик. В народе его называли «Бычок», с той ласковой и презрительной интонацией, с какой говорят о старом, спившемся родственнике, которого и выгнать

жалко, и держать тошно. Кабина пахла соляркой, дешёвым табаком «Беломор» и чужими бедами, тем самым запахом, который, кажется, навсегда въедается в кожу тех, кто всю жизнь провёл за рулём. Двигатель троил, краска, когда-то, видимо, зелёная, теперь имела цвет увядшей жизни, какой-то серо-буро-малиновый, как небо над Уралом в ноябре.

— Беру, — отрезал Виктор.

— Да ты глянь на него! — дядя Миша сплюнул в грязь. — Он же развалится на первом же ухабе! Куда ты на нём, чудак, поедешь? Картошку возить?

— Картошку, — мрачно бросил Виктор.

Он забрался в кабину. Сиденье пружинило в спину, пружины кололи через тонкую обивку, как будто машина хотела сказать ему: «Не садись, не твоё это место». Виктор закрыл глаза и вдруг, совершенно неожиданно, вспомнил не Чехова, нет, а отца — простого работягу с завода, приходившего домой пьяным. Он никогда не говорил ему «сынок» и редко разговаривал с ним. Он рано умер. Виктор так и не успел его понять.

Он вспомнил, как отец однажды, трезвый, что было редкостью, посадил его на колени и сказал: «Витя, запомни. Жизнь это не то, что ты имеешь. Жизнь это то, что ты чувствуешь». Виктор тогда не понял, думал, что отец говорит глупости, а теперь понял. Слишком поздно, как это всегда бывает.

«Дорогой, многоуважаемый "Бычок"», — подумал он, и ему стало смешно и грустно одновременно. И повернул ключ.

Машина кашлянула, чихнула облаком чёрного дыма и заглохла. Виктор выругался — тихо, вдохновенно, как ругаются только в деревнях, где нет прохожих, — и снова повернул ключ. Грузовик задрожал, издав звук, похожий на предсмертный стон раненого медведя, но поехал.

И Виктор понял вдруг, с какой-то странной, почти детской ясностью, что это не машина едет, а едет он сам — тот Виктор, которого он ещё не знал, тот, который только-только начинал рождаться из пепла и ржавчины, из предательства и уральской грязи.

ГЛАВА 2. Анна

Анна Сергеевна Светлова родилась в детдоме. Не в прямом смысле — в прямом смысле она родилась в роддоме города Кирова, — но в том смысле, в котором говорят «я из детдома», она была именно оттуда.

Её мать, молодая, двадцатилетняя, с глазами, как у лани, и с руками, которые не знали, что делать с ребёнком, оставила её в три года. Не потому, что не любила, а потому, что не могла — не могла в том смысле, в котором не могут люди, которые сами выросли без любви и не знают, как её давать. Она привела Анну в детдом, поставила у двери, сказала «подожди здесь» и ушла. И не вернулась.

Анна помнила это смутно, как помнят сны, которые забываются, едва откроешь глаза. Помнила коридор — длинный, с зелёными стенами, с запахом хлорки. Помнила дверь — тяжёлую, железную, с облупившейся краской. Помнила, как стояла у этой двери и ждала: час, два, три, пока не пришла воспитательница, тётя Валя, полная, добрая, с глазами, которые видели слишком много, и не взяла её за руку. И не сказала: «Пойдём, девочка. Теперь я твоя мама».

Тётя Валя умерла, когда Анне было двенадцать, и Анна снова осталась одна — в мире, где все чужие, где никто не придёт за тобой, где никто не скажет: «Я твоя», где ты просто ребёнок, просто девочка, просто одна из многих.

Она была тихой не потому, что боялась, а потому, что привыкла не высовываться, не просить, не ждать и быть удобной — ведь удобных любят, удобных не бросают, удобных оставляют.

Она училась хорошо — не потому, что была умной, хотя была, а потому, что учёба была её убежищем. В книгах был другой мир: мир, где дети находили родителей, где девочки становились принцессами, где любили, где не бросали, где она не была одна.

Она мечтала стать учительницей не потому, что хотела учить, а потому, что хотела быть нужной: чтобы кто-то ждал её, говорил ей: «Анна Сергеевна, а мы вас ждали», смотрел на неё не с жалостью, а с любовью, которой ей так не хватало.

Она поступила в педагогический, в Кирове, не в Москве — не потому, что не могла в Москву. Она боялась большого города, людей и того, что снова окажется одна. В маленьком городе было проще, тише, в маленьком городе можно было спрятаться — как она пряталась в детдоме, как пряталась в книгах, как пряталась всю жизнь.

В институте она была незаметной — не потому, что не хотела быть заметной, а потому, что не умела: быть в центре, говорить громко, смеяться так, чтобы все оборачивались. Она сидела на задней парте, записывала лекции, читала книги и мечтала о том, что когда-нибудь будет другая жизнь, где она не одна, где кто-то ждёт её, где кто-то любит её, где кто-то говорит ей: «Ты моя».

На третьем курсе она встретила его. Не Виктора, другого. Его звали Сергей; он был старше, учился на историческом, носил очки и говорил умные вещи. Он обратил на неё внимание не потому, что она была красивой, хотя была, а потому, что она слушала — слушала так, как не слушал никто, так, что он чувствовал себя нужным, так, что он думал: «Вот она. Та самая».

Они встречались год. Он говорил ей, что любит, она верила — потому что хотела верить, потому что не могла не верить, потому что впервые в жизни кто-то говорил ей, что она нужна. А потом он ушёл. Тихо, без объяснений, без ссор: просто перестал приходить, просто перестал звонить, просто исчез — как исчезла мать, как исчезла тётя Валя, как исчезали все, кто когда-либо был ей дорог.

После института она поехала в Нижние Ильмы — не потому, что хотела, а потому, что распределение, потому что не было выбора, потому что надо было куда-то ехать. И она поехала в деревню, затерянную между тайгой и болотами, куда не ходили асфальтированные трассы, — поехала как в ссылку, как в изгнание, как в место, где можно спрятаться от всего мира: от людей, от любви, от боли, от себя.

Первые месяцы были адом — не потому, что было тяжело, а потому, что было тихо. Слишком тихо: тишина, в которой слышно, как дышит земля, как стучит сердце, как ты одна — совсем одна, в целом мире одна.

Она приходила в школу — в старую, бревенчатую, с печкой, которую надо было топить дровами. Она учила детей читать, писать, считать; смотрела на них, на этих малышей в ватных куртках и валенках, и думала: «Вот. Вот то, ради чего я здесь. Вот то, что я могу. Вот то, что я умею». Она учила их тому, чего её не научили - что они нужны, что они любимы, что их не бросят.

Она стала своей в деревне. Не сразу, постепенно: сначала просто учительница, потом Анна Сергеевна, потом Анютка, потом просто Аня. Её полюбили той особенной, деревенской любовью, которая бывает только у людей, знающих цену человеку. Её приглашали на свадьбы, ей приносили пироги, ей рассказывали свои истории, ей доверяли своих детей, ей доверяли себя.

Она была счастлива? Нет. Не счастлива. Она была нужна, а это не то же самое. Нужна — это когда тебя зовут; счастлива — это когда тебя любят. Нужна — это когда ты делаешь; счастлива — это когда ты есть. Она делала много, она была нужна всем, но не была счастлива: не была любима, не была с кем-то, была одна.

Баба Клава, та самая, которая жила через три избы, была единственной, кто это понимал. Она смотрела на Анну своими ясными синими глазами и говорила:

— Анютка. Ты как свечка. Горишь для всех. А для себя не остаётся.

— Баба Клава, — смеялась Анна. — О чём вы?

— О том, что ты одна, — говорила старуха. — О том, что ты ждёшь. О том, что ты думаешь, что недостойна. А ты достойна, Анютка. Ты достойна всего. Только ты не веришь. Потому что не научили. Потому что не показали. Потому что не доказали.

Анна молчала, потому что баба Клава была права. Потому что она действительно ждала, действительно думала, что недостойна, действительно не верила — в то, что может быть счастлива, что может быть любима, что может быть не одна.

Она ждала. Долго. Годами. Ждала того, кто придёт, кто скажет: «Ты моя», кто не бросит, кто останется, кто полюбит — не за то, что она нужна, а за то, что она есть. Просто есть. Просто Анна. Просто девочка с зелёными глазами и косой. Просто человек.

Она не знала, что он уже едет, что он уже близко, что он уже стоит по колено в уральской грязи и смотрит на ржавый грузовик, что он такой же, как она: один, уставший, израненный, ждущий, тот, кто не верит, кто боится, кто хочет любить, но не знает как.

Она не знала. Но что-то внутри неё знало. Что-то внутри неё ждало. Что-то внутри неё говорило: «Скоро. Скоро всё изменится. Скоро ты не будешь одна».

ГЛАВА 3. Барышня и хулиган

Первая неделя в Нижних Ильмах стала для Виктора настоящим адом. Он снимал угол у старой вдовы, Марьи Ивановны, которая пыталась его подкармливать пирогами с капустой, глядя на него глазами, полными то ли жалости, то ли страха, — уж больно суров был её жилец.

Днём он возил картошку, доски и иногда, если дядя Миша подкидывал халтуру, цемент на местный стройдвор. Ночами лежал на скрипучей кровати и смотрел в потолок, слушая, как воет вьюга. Его руки, всегда ухоженные, теперь были в мозолях и въевшемся мазуте, который не брало никакое мыло.

Он не думал о Москве и заставлял себя не думать, потому что если думать, можно сойти с ума: вспомнишь Глеба, вспомнишь Ларису, вспомнишь всё — а это больно, невыносимо и есть то самое, от чего он бежал в Нижние Ильмы, в эту деревню, в эту грязь, в эту тишину.

По вечерам он сидел на крыльце, курил, смотрел на лес, слушал, как скрипит колодезный журавль, и думал что дальше, что будет, кто он теперь — без денег, без статуса, без всего. Кто он без всего этого? Человек? Пустота? Никто?

Он не знал ответа, но что-то внутри него, что-то, что он считал давно умершим, начинало шевелиться, оживать, говорить: «Ты есть. Ты здесь. Ты жив. И это уже немало».

В пятницу утром грузовик предательски заглох прямо у ворот школы — не просто заглох, а встал поперёк дороги, извергая клубы пара из-под капота.

Виктор, весь перемазанный в чёрной жиже, лежал под машиной и матерился — тихо, но вдохновенно, вспоминая всех конструкторов, их матерей и далёких предков.

— Эй! Вы там уснули, что ли?! — раздался звонкий, как серебряный колокольчик, но пронизанный сталью голос.

Виктор вылез из-под капота, вытирая руки грязной ветошью. Перед ним стояла она.

Ей было двадцать шесть, не больше. На ней было простое серое платье в мелкий цветочек, перехваченное поясом, а на плечи накинут старый, но чистый платок. Волосы, тёмные, как крыло ворона, были заплетены в тугую косу, перекинутую через плечо. Но Виктор посмотрел не на косу — он посмотрел в глаза.

Они были зелёными. Цвета весенней таёжной травы, цвета мха на старых елях. И сейчас в этих глазах плескалось такое негодование, что Виктору, привыкшему к виду разъярённых акционеров и бандитов, стало интересно.

— Машину чиню, гражданка, — буркнул он, стараясь, чтобы голос звучал как можно грубее. — Не видите, что ли?

— Вижу! — сказала она с характерной учительской интонацией. — Вы уже третий день перекрываете проезд! У меня через десять минут второй класс на улицу должен выйти, а вы тут устроили гараж! И почему от вашей машины так воняет?

Виктор медленно выпрямился. Он был высоким, широкоплечим, и сейчас, покрытый грязью, с тяжёлым взглядом из-под нависших бровей, казался лесным лешим. Девушка на секунду запнулась, но тут же вскинула подбородок.

— От машины воняет соляркой, учительница, — рыкнул он. — А от вас, я гляжу, пахнет мелом и наивностью. Отъезжайте с дороги, а то я сейчас заведу эту рухлядь, и она вас вместе с вашими пионерами в кювет сметёт.

Девушка ахнула, прижав к груди стопку тетрадей.

— Как вам не стыдно! Я Анна Сергеевна Светлова, учительница начальных классов! А вы... вы просто хам и хулиган! Дядя Петя на тракторе хоть здоровается, а вы...

— Дяде Пете платят за то, что он здоровается, — отрезал Виктор. — А мне за то, что я ваш грузовик чиню, не платят. Так что идите учите своих детей букварю, Анна Сергеевна. И не суйте нос туда, где одни гайки и масло.

Он снова нырнул под машину. Анна Сергеевна стояла ещё минуту, тяжело дыша; Виктор краем глаза видел, как она топнула ногой и быстро зашагала к крыльцу школы, высоко держа голову, а коса хлестала её по спине.

«Дурочка, — подумал Виктор, откручивая гайку. — Наивная деревенская дурочка. Глаза, как у лани, а язычок, как у пилы».

Но почему-то, когда он снова залез под капот, образ её возмущённых зелёных глаз стоял перед ним, и гайка никак не хотела откручиваться.

Анна шла к школе и чувствовала, как горят щёки — не от мороза, а от обиды, от злости, от чего-то ещё, чего она не могла назвать.

Она не привыкла к хамству. В деревне все здоровались, все улыбались, все говорили «Анна Сергеевна» с уважением. А этот, этот москвич, этот беглец… Кто он вообще такой, он говорил с ней так, как будто она пустое место, как будто она никто, как будто она не заслуживает даже взгляда.

Она зашла в класс, села за стол, положила тетради. Руки дрожали — не от холода, а от того, что внутри неё что-то шевельнулось, что-то давно похороненное, что-то, что она запретила себе чувствовать.

Она вспомнила Сергея — того самого, который говорил ей, что любит, но потом ушёл, бросил её, «Нет. Больше никогда» ,- сказала себе Анна .

Она посмотрела в окно и увидела его — того самого москвича. Он всё ещё лежал под машиной, перемазанный, злой, с тяжёлым взглядом. И что-то внутри неё, что-то, что она считала мёртвым, вдруг отозвалось — не жалостью, не симпатией, а чем-то другим, что было сильнее и глубже, чем-то, что называлось «я тебя вижу».

Она тряхнула головой, отогнала это, отогнала его, и начала урок.

ГЛАВА 4. Угольный бунт

Ноябрь на Урале не наступает постепенно — он обрушивается внезапно, как удар обухом по голове. Ещё вчера по дорогам месили грязь, а сегодня мир побелел и замёрз.

Виктор сидел в кабинете директора местного совхоза, пил сладкий, обжигающий чай из гранёного стакана и слушал нытьё.

— Витя, ну выручай, — директор, лысоватый мужик в растянутом свитере, хлопал его по плечу. — Уголь для школы не пришёл. Машина из города сломалась. А у Анны Сергеевны там малышня, они ж замёрзнут. Ты на своём грузовике привезёшь? Со склада за десять километров.

Виктор поморщился: его грузовик сейчас больше напоминал инвалида, чем машину. Но делать было нечего.

— Ладно. Завтра с утра.

На следующий день Виктор с утра завёл машину. В кузове лежали мешки с углём. Дорога до школы была не дорогой, а направлением: сугробы по колено, ветер так свистел, что закладывало уши.

Он подъехал к школе как раз к началу третьего урока, вылез из кабины, открыл борт. Мешки были тяжёлыми, по пятьдесят килограммов, и Виктор стаскивал их на землю, чувствуя, как коченеют пальцы.

Дверь школы распахнулась, и на крыльцо высыпала орава малышей в ватных куртках и валенках, а за ними вышла Анна Сергеевна. На ней был накинут старый полушубок, а на голове белая вязаная шапочка с помпоном; она выглядела очень хрупкой на фоне серых бревенчатых стен.

— Виктор! — окликнула она его. — Что вы делаете? Оставьте, я сама позвоню в совхоз, пусть мужиков пришлют! Вы же руки отморозите!

Виктор выпрямился, опираясь рукой о борт грузовика, и посмотрел на неё сверху вниз.

— Мужиков у вас, Анна Сергеевна, только два: дядя Миша, который вечно пьян, и директор, у которого радикулит. Так что не дёргайтесь.

— Но вы же не обязаны! — в её голосе прорвались металлические нотки. — Вы и так надрываетесь тут... Я видела, как вы вчера таскали брёвна. Вы... вы слишком худой для такой работы. Вам нужно есть нормально, а не сухарями запивать!

Виктор усмехнулся. В его прошлом, в его московском пентхаусе, женщины говорили ему: «Витя, ты так устал, ложись на массаж». А эта деревенская училка, у которой, судя по всему, зарплаты хватало только на хлеб, переживала за его здоровье.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.